



А. Н. ТОЛСТОЙ

Падший Ангел

Александр Блок

Его встречали повсюду
На улицах в сонные дни,
Он шел и нес свое чудо,
Спотыкаясь в морозной тени...

Один из моих друзей в письме ко мне в Париж, сказал, что в русской литературе Блок — падший Ангел. Мне хотелось восстановить в памяти портрет поэта: действительно ли — песня, которую он спел на земле, была песней падшего Ангела? Почему такой трагической правдой звучит это определение? И почему через него поэт становится близок, как собственное сердце?

Я увидел Блока в первый раз в 907 году. Он вошел в вестибюль театра Комиссаржевской, минуя очередь, взял в кассе билет и, подбоченясь, взглянул на зароптавшую очередь барышень и студентов. Его узнали. У него были зеленовато-серые, ясные глаза, вьющиеся волосы. Его голова напоминала античное изваяние. Он был очень красив, несколько надменен, холоден. Он носил тогда черный, застегнутый сюртук, черный галстук, черную шляпу. Это было время колдовства и тайны Снежной Маски.

Юноша Блок появился в кружках первых модернистов за несколько лет до революции 905 года. Новая русская поэзия, изошедшая от французских символистов, — искала свои пути. Искали в русском стихе музыкальных очарований Верлэна,

мистической призрачности Метерлинка. Московские «Весы» подняли знамя символизма. Бальмонт, как весенняя речка, ломал застывший русский стих. Брюсов культивировал «Цветы Зла».

Другой лагерь — литература толстых журналов, маститые беллетристы, восходящие звезды в сборниках «Знание», шумливые критики, — были заняты наступающей революцией. Модернисты были у них в презрении: их считали: иные — представителями общего дела, иные — дурачками.

В это беспокойное время Блок принес с собою высокую любовь к Владимиру Соловьеву, к Фету и к Тютчеву. Казалось — он был посвящен ими, чтобы указать ближайший путь русскому искусству, крутившемуся в водовороте исканий и революционного возбуждения.

К этому же времени относится событие в личной жизни Блока: встреча его с одной из тех удивительных русских девушек, мечтательных, нежных и чистых, влюбленность в которых создала вдохновенные страницы в русской литературе.

Пламенная душа Блока прикоснулась к ясной чистоте девичества. Были написаны стихи о Прекрасной Даме.

Книга эта не была ни понята, ни принята читателями, кроме избранного кружка. Стихи были слишком необычайны. Их форма была прозрачна, без твердых очертаний. Их ритм был взволнованный, нервный, неуловимо-улетающий. Их символы были слишком странны в те времена, когда казалось, что вот еще немного, — грянет революция, будет немедленно и целиком осуществлена социалистическая программа и восторженный русский народ немедленно же и абсолютно станет счастливым.

В стихах о Прекрасной Даме говорилось о непонятной тревоге:

Я просыпался и всходил
К окну на темные ступени.
Морозный месяц серебрил
Мои затихнувшие сени.
Давно уж не было вестей,
Но город приносил мне звуки,
И каждый день я ждал гостей
И слушал шорохи и звуки...

О томлении ожидания:

Вхожу я в бедные храмы,
Совершаю бедный обряд.

Там жду я Прекрасной Дамы
 В мерцаньи красных лампад.
 В тени у высокой колонны
 Дрожу от скрипа дверей.
 А в лицо мне глядит, озаренный,
 Только образ, лишь сон о ней...

О ее приближении:

...Занавески шевелились и падали.
 Поднимались от невидимой руки.
 На лестнице тени прядали.
 И осторожные начинались звонки.
 Еще никто не вошел на лестницу,
 А уж слышали счет ступень...¹

О безумии Ее появления:

...Все кричали у круглых столов,
 Беспокойно меняя место.
 Было тускло от винных паров.
 Вдруг кто-то вошел — и сквозь гул голосов
 Сказал: — Вот моя невеста...

О восторге первого видения:

...Глубокий жар случайной встречи
 Дохнул с церковной высоты
 На эти дремлющие свечи,
 На образа и на цветы.
 И вдохновительно молчанье,
 И скрыты помыслы твои,
 И смутно чутся познание
 И дрожь голубки и змеи².

О тревоге соблазна:

...Весь горизонт в огне, и близко появенье,
 Но страшно мне: изменишь облик Ты,
 И дерзкое возбудишь подозренье,
 Сменив в конце привычные черты.
 О, как паду — и горестно и низко,
 Не одолев смертельные мечты!
 Как ясен горизонт! И лучезарность близко.
 Но страшно мне: изменишь облик Ты...³

И, наконец, о восторге любви:

Ты горюшь над высокой горою,
 Недоступна в своем терему.
 Я примчуся вечерней порою,
 В упоенье мечту обниму.

Ты, заслышав меня издалека,
Свой костер разведешь ввечеру.
Стану, верный велениям Рока,
Постигать огневую игру.

И, когда среди мрака снопами
Искры станут кружиться в дыму, —
Я умчусь с огневыми кругами
И настигну Тебя в терему.

В книге было неясно, — кто Прекрасная Дама? — Пречистая, Непорочная Девственность, смерть? Почему вся книга была пронизана такою пронзительной печалью?

А, кроме того, о каких там, черт возьми, говорить неуловимых призраках, когда Прекрасная Дама — русская Революция, вот-вот стукнет в дверь, войдет и сядет, румяная, земная, веселая.

Так это все тогда казалось. Блок ни на чем не настаивал, будто он и сам не понимал, — о чем было написано в книге. Когда его спрашивали: «Объясните мне сами, что значат эти строки», он со слабой улыбкой прекрасных уст отвечал просто-душно: «Уверяю вас, — не знаю»...⁴

...Никому не открою ныне
Того, что рождается в мысли.
Пусть думают — я в пустыне
Блуждаю, томлюсь и числю...⁵

А между тем эта удивительная книга была написана о России, о бедной, доверчивой, русской душе, снова и снова обольщенной призраком Всеобщего Счастья. Разумеется, Блок ни минуты не думал, что писал книгу о России, он лишь переживал свою влюбленность и вещим, пронзительным взором видел, что она недостижима и невоплотима, потому что он был Поэт, потому что через него говорили миллионы голосов, потому что его личная жизнь, Александра Александровича, была в страшной власти его гения: он был обречен.

Ты в поля отошла без возврата.
Да святится Имя Твое!
Снова красные копыя заката
Протянули ко мне острие.

В его личной жизни произошла катастрофа, о которой я не хочу упоминать, это совпало с катастрофой революции 905 года⁶. Революция была задушена, смертельно раненная русская душа начала разлагаться, под покровом блестящей и шумной

жизни — пахло гнилью. Наступала реакция. Блок выпустил вторую книгу о Незнакомке. Это была иная книга, иного человека. Белоснежный призрак, улетевший в высь из пылающей Купины, снова предстал поэту: с черного, звездного неба скатилась звезда и прекрасной Незнакомкой, одетой в черное, появилась в улицах города. В тоске глухой и пьяной жизни, среди пьяниц, в кабаке, она проходит мимо поэта, пронзает его взглядом. В нем с новой остротой поднимается тоска.

...И веют древними поверьями
Ее упругие шелка,
И шляпа с траурными перьями,
И в кольцах узкая рука.

И странной близостью закованный
Смотрю за темную вуаль,
И вижу берег очарованный
И очарованную даль.

Глухие тайны мне поручены,
Мне чье-то солнце вручено,
И все души моей излучины
Пронзило терпкое вино...⁷

Эта скатившаяся звезда, эта женщина в трауре, исчезающая за пылью переулка, этот падший Ангел была *душа поэта*. Свершилась человеческая трагедия, — поэт был принесен в жертву, сброшен с горних высот на унылую землю, и всей жизнью своею связан отныне с трагической и страшной судьбой России.

...Поверь, мы оба небо знали:
Звездой кровавой ты текла,
Я измерял твой путь в печали,
Когда ты падать начала.

Мы знали знаньем несказанным
Одну и ту же высоту
И вместе пали за туманом,
Чертя уклонную черту...⁸

Этот период падения, охватывающий половину всех творений Блока, принято называть временем упадка, декаданса. Действительно, как могли здоровые, живущие изо дня в день, люди понять поэта, расточавшего себя, опустошавшего свою душу? Как можно было знать, что его *вещий взор видел в грядущем все более сгущавшуюся, все более черную русскую ночь*. Иные называли его пессимистом, пожимали плечами. А его

душа изнемогала от тоски — ему некуда было убежать от гибнущей России, от самого себя.

И мрак был глух. И долгий вечер мглист.
И странно встали в небе метеоры.

И был в крови вот этот аметист.
И пил я кровь из плеч благоуханных,
И был напиток душен и смолист.

Но не кляни повествований странных
О том, как длился непонятный сон...
Из бездн ночных и пропастей туманных

К нам доносился погребальный звон;
Язык огня взлетел, свистя, над нами,
Чтоб сжечь ненужность прерванных времен!

И — сомкнутых безмерными цепями —
Нас некий вихрь увлек в подземный мир...⁹

Он был павшим Ангелом, он был каждым из нас. Его душа была мрачна. Он все более уединялся от людей. Он говорил, обычно, мало. Был приветлив и сдержан. На его прекрасном лице легли следы бессонных ночей. Телефон в его квартире работал только четверть часа в сутки.

В то время говорили, что Блоку нужно ехать лечить неврастению, — нельзя же, в самом деле, отравлять здоровым людям пищеварение постоянным напоминанием о смерти, о гнили. Были такие, которые в простоте души думали, что нужно жить «по Блоку», и на все ночи закатывались в кабаки, искали там Незнакомок с «крылатыми глазами»¹⁰.

...Визг цыганского напева
Налетел из дальних зал,
Дальних скрипок вопль туманный...
Входит ветер, входит дева
В глубь исчерченных зеркал...¹¹

В Блоке словно истлевало все, что было его, личным, все, что его, лично, привязывало к жизни, и понемногу освобождалось в нем человеческое, великое. Он без пощады жег себя на огне страстей и тоски. Бывали недолгие вспышки влюбленности, и тогда появились книги колдовского очарования. Так, в одну из зим, в театре, где шла его пьеса, он встретил ту, которую называли впоследствии Снежная Маска».

Январские, то звездные, то выюжные ночи, печальная прелесть кулис, синие глаза актрисы создали «Снежную Маску», пронзительно печальную книгу о влюбленности...

Белоснежней не было зим
 И перистее тучек.
 Ты дала мне в руки
 Серебряный ключик,
 И владел я сердцем твоим
 Тихо всходил над городом Дым.

Умирали звуки.
 Белые встали сугробы,
 И мраки открылись,
 Выплыл серебряный серп,
 И мы уносились,
 Обреченные оба
 На ущерб...

Снова влюбленность пела ему песни:

...Взор твой ясный к выси звездной
 Обрати.
 И в руке твой меч железный
 Опusti.
 Сердце с дрожью бесполезной
 Укrotи.
 Вихри снежные над бездной
 Закрути.
 Рукавом моих метелей
 Задушy.
 Серебром моих веселий
 Оглушy.
 На воздушной карусели
 Закружy.
 Пряжей спутанной кудели
 Обовью.
 Легкой брагой снежных хмелей
 Напою.

Но снова сердце бьет тревогу:

Сердце, слышишь
 Легкий шаг
 За собой?
 Сердце, видишь:
 Кто то подал знак,
 Тайный знак рукой?

И опять:

...И опять глядится смерть
 С беззакатных звезд...

Эта книга была — мольба снова к Той, далекой, к Ней, —
 прийти под снежной маской, взять за руку и улететь в звезд-

ную бездну ночи, туда, где не достигнет вьюжный ветер, трубящий в рога погони.

После возвращения из Италии¹² начинается третий период творчества Блока: — романтическая символика исчезает в его стихах, они становятся более строгими, эпичными. Теперь уже не прекрасная Дама, не Незнакомка, не Снежная Маска, а «плат узорный до бровей»¹³. Казалось, испепелив себя, Блок касается родной земли, и она наполняет его мрачным богатством наступающей трагедии. Вещим сердцем Блок уже готовится к написанию прекраснейших из всех своих книг «Ночные часы». Эта книга словно прощальный, смиренный поцелуй той, — в узорном плато до бровей...

О, Русь моя! Жена моя! До боли
 Нам ясен долгий путь!
 Наш путь — стрелой татарской древней воли
 Пронзил нам грудь.

Наш путь — степной, наш путь — в тоске безбрежной,
 В твоей тоске, о Русь!
 И даже мглы — ночной и зарубежной —
 Я не боюсь.

.....

И нет конца! Мелькают версты, кручи...
 Останови;
 Идут, идут испуганные тучи,
 Закат в крови!

Закат в крови! Из сердца кровь струится.
 Плачь, сердце, плачь!
 Покоя нет! Степная кобылица
 Несется вскачь!

Настала война. Блок работал в полнейшем уединении. Его романтическая драма — «Роза и Крест» — готовилась к постановке в Художественном театре¹⁴. Блок, казалось, исходил все темные, глухие переулки, куда скатилась некогда печальной звездой его душа, и, вернувшись к первоистокам, встал — суровый воин, в тяжелых латах, покрытых рубцами, с мечом и крестом — на страже Той, чей единый во все века символ — роза.

Так, быть может, думал Блок-человек. Какой человеческий взор мог проникнуть в глубину той бездны, куда опускалась Россия? Но обреченный певец России, обрученный страшной

невесте, Блок должен был идти все дальше, все глубже в русскую, дикую ночь.

С мечом и крестом — он любил такие каламбуры — Блок уехал на фронт, — много месяцев о нем ничего не было слышно. Говорили, что он ничего не пишет и увлечен работой, — он служил десятником на постройках окопов и подведения конных путей к позициям¹⁵.

В январе 917 года морозным утром я, прикомандированный Земгором к генералу М., объезжавшему с ревизией места работ Западного фронта, вылез из вагона на маленькой станции, в лесах и снегах, и пошел к городку фанерных бараков, где было управление дружины¹⁶. Мне было поручено взять сведения о работавших в дружине башкирах. Меня провели в жарко натопленный домик, где стучали дактилографисты, и побежали за заведующим. Через несколько минут, запыхавшись, вошел заведующий, худой, красивый человек, с румяным от мороза лицом, с заиндеветыми ресницами. Все, что угодно, но я никак не мог ожидать, что этот заведующий окопными работами — Александр Блок. Он весело поздоровался и сейчас же раскрыл конторские книги. Когда сведения были отосланы генералу, мы пошли гулять. Блок рассказывал мне о том, как здесь славно жить, как он из десятников дослужился до заведующего, сколько времени в сутки он проводит верхом на лошади; говорили о войне, о прекрасной зиме... Когда я спросил — пишет ли что-нибудь, он ответил равнодушно: «Нет, ничего не делаю». В сумерки мы пошли ужинать в старый, мрачный, помещичий дом, где квартировал Блок. В длинном коридоре мы встретили хозяйку, увядшую женщину, — она посмотрела на Блока мрачным глубоким взором. Зажигая у себя лампу, Блок мне сказал страшную фразу — тогда я не понял ее:

«В этом доме, я знаю, будет преступление».

Какому хочешь чародею
Отдай разбойную красу.
Пускай заманит и обманет, —
Не пропадешь, не сгинешь ты,
И лишь забота затуманит
Твои прекрасные черты...
Ну что ж? Одной заботой боле —
Одной слезой река шумней,
А ты все та же — лес да поле,
Да плат узорный до бровей¹⁷.

Так было им сказано до революции. В 17-м году Блок вернулся в Петроград. После октября он написал «Двенадцать».

И после этой поэмы до самой смерти за три года он не сказал более ни строки стихов. Он мерз в очередях за вяленой рыбой, работал над статьями на различные темы, которые ему заказывали. Был бесконечно кроток и смиренен. Он не хотел и не мог покидать России.

Поэма «Двенадцать» это то, уже сверхчеловеческое, под конец, ясновидение, о котором Блок таинственно поминает во всех книгах:

Ветер взвихрил снега.
 Закатился серп луны.
И пронзительным взором
 Ты измерила даль страны,
 Откуда звучали рога
 Снежным, метельным хором.

(*Снежная Маска*)

Пронзительным взором Блок проник в снежную ночь. Он услышал трубные рога революции, ее дикий посвист, ее яростные шаги, и над метелями, над вьюжной ночью:

Ангел, гневно брови изламывающий,
 Два луча — два меча скрестил в вышине...

(*Снежная Маска*)

Революция со всем буйством, кровью, муками, с безумными и сверхчеловеческими мечтаниями, включена, как в дивном кристалле, в «Двенадцати».

И за вьюгой невидим,
 И от пули неведим,
 В белом венчике из роз
 Впереди — Иисус Христос.

Наконец, — *сказано слово*. Так, поэт, всю жизнь певший о нисхождении во тьму, о тоске и безнадежности русской, грешной ночи, — объявил, уходя от нас, весть, радостней которой не было:

Россия спасена. Двенадцать разбойников, не ведавших, что творили, будут прощены.

Пронзительным взором он проник в бездну бездн тьмы. Он увидел Христа, ведущего через мучительство ту, у которой окровавленный плат опущен на брови.

Блок закрыл глаза навсегда. Теперь он знал, зачем его сердце так любило и так бедствовало. Он знал имя той, кого, кружась в огневых кругах своих недолгих лет, он настиг в горном терему.

Так любить, как возлюбил Россию Блок, мог бы только ангел, павший на землю, ангел, сердцу которого было слишком тяжело от любви.

Блок умирал медленно — истаял, отошел.

Последний свет
Померк. Умри.
Померк последний свет зари¹⁸.

